



**П. К. ГУБЕР**

**Силуэт Розанова**

Он был старик, давно больной и хилый,  
Дивились все, — как мог он долго жить.  
Но почему же с этою могилой  
Меня не может время примирить?  
Не скрыл он в землю дар безумных песен,  
Он все сказал, что дух ему велел, —  
Что ж для меня не стал он бестелесен,  
И взор его в душе не побледнел?

*Вл. Соловьев*<sup>1</sup>

О нем много писали и говорили, пока он был жив. И почти всегда — резко и страстно.

Теперь, думаю я, о нем можно говорить с бóльшим спокойствием, нежели прежде. Ведь недаром прошли мы школу тяжкого опыта последних лет. Жизнь приучила нас ничему не удивляться и почти ничем не возмущаться. Эту привычку не худо перенести и в область литературы.

Решившись писать здесь о Розанове, я не собираюсь дать его полную характеристику. Такую задачу нельзя разрешить на протяжении нескольких страниц. Не литературный портрет во весь рост предлагается здесь читателю, но лишь беглый контур, в котором схвачены некоторые, наиболее бросающиеся в глаза черты.

Прежде всего это был замечательный стилист, утонченный мастер слова, едва ли не единственный писатель наших дней, у кого была своя собственная, ему одному присущая литературная манера, притом манера не вымученная, не надуманная, а необходимо связанная с существом его мысли. То, что он писал, можно и должно было писать *так*, как он писал: не иначе.

Кто, кроме него, обладал в наше время, да и гораздо прежде, этим даром великолепного лаконизма, соединявшегося подчас с

высокой иронией? Такова, например, маленькая притча, написанная им незадолго до смерти. Называется она:

### Интеллигенция и Революция.

«Полюбовавшись вдоволь на это ужасное зрелище, мы сказали: — Теперь наденем шубы и пойдем домой. Но оказалось, что шубы украдены, а дома заняты»<sup>2</sup>.

И это все. По-моему, это лучшее из многих тысяч листов, написанных на ту же тему.

Да, это был великий стилист. Однако при внимательном изучении его стиля мы наталкиваемся на странное противоречие.

Иногда, или, вернее, очень часто, этот выдающийся мастер, этот неподражаемый художник становится вдруг косноязычен и стилистически беспомощен. Утомительное многословие вытесняет филигранно-отчеканенную речь. Мысль как бы тонет в мутно-серых словесных потоках. Чем объясняется это? Неужели истерией, кривлянием, уродством, кликушеством, о которых до сих пор не перестают твердить хулители Розанова?

Конечно, нет. Но здесь мы приближаемся ко второй характерной черте его.

Для меня несомненно, что Розанов был тайновидцем. Видел и знал тайны, недоступные большинству. То не были тайны потустороннего мира. Но ведь граница таинственного, порубежная черта «неясного и нерешенного» не всегда совпадает с границами трансцендентного.

Все, протекающее за дымкой сумерек, есть уже тайна; впрочем, тайна, доступная человеческому прозрению. Таинственны все биологические процессы и вся игра подсознательных начал в нашей душе, таинственен и ход человеческой истории, хотя мы не можем отказаться от попыток разгадать и осмыслить его.

Яркие краски блестящего внешнего покрова, наброшенного на земную действительность, ослепляют наш взгляд. Впечатления внешнего порядка преимущественно проходят через наше бодрствующее сознание. И как раз эти впечатления всего легче укладываются в четкие словесные формулы, которыми издавна полным-полна сокровищница литературы. Писать красиво, элегантно, логически стройно может, в конце концов, всякий, у кого есть достаточно терпения и выдержки, чтобы научиться словесному искусству. Но в писателях такого рода найдет отражение только светоносная поверхность бытия. Один шаг в сторону, в царство сумеречных глубин, и начинаются блуждания ощупью, наугад. Хаотичность изложения тотчас же обличает смутность и неясность описываемого объекта. В отдельных слу-

чаях хаотичность эту удается преодолеть, и тогда перед нами огромное литературное достижение. Но тут неизбежны срывы и провалы; понятны и естественны неудачи.

Такие неудачи были и у Розанова. Слишком далеко дерзал он уходить в просторы, объятые мраком.

В мире загадок и тайн есть одна область, которая с особенной, исключительной силой привлекала Розанова. Заговорив об этом, мы коснулись третьей основной, характерной, — пожалуй, самой характерной — его черты.

Он был тайновидцем пола, считался общепризнанным специалистом по части сексуальной проблемы. Это такая проблема, за которую, право, лучше было бы не браться огромному большинству авторов, ее трактовавших. Заметьте: многие русские писатели в личной жизни вовсе не были целомудренными людьми. Мы знаем это из их биографий. Но русская литература от Пушкина до Чехова — самая целомудренная во всей Европе. И не потому, что за нею так долго бдительным оком следила еще более целомудренная цензура. Нищету, грязь, грубость и жестокость жизни наша литература всегда рисовала с беспощадной правдивостью. Но, изображая отношения между мужчиной и женщиной, она неизменно обретала некий предел, за которым — как безошибочно чувствовали все истинные носители национального поэтического гения — «мысль изреченная есть ложь». И не изрекали.

Наша литература была целомудренной и в самом начале XX столетия от этого своего качества умышленно и преднамеренно отказалась. Русский цинизм, которого и прежде было сколько угодно в жизни, перелился в книги.

Русский цинизм обладает некоторыми особенностями, которые предпочтительно отличают его от соответственных явлений на Западе. Если цинизм народов и литератур латино-романского корня изящен, грациозен и лукав; если цинизм немца или англичанина тяжел, груб, прозаичен, то русский цинизм неестественен и уродлив. В нем есть что-то жалкое и вместе страшное, от чего щемит сердце и хочется плакать; и от чего к тому же изрядно тошнит.

И вот доказательством высшей оригинальности Розанова служит его способность безнаказанно браться за скользкие и сомнительные темы. Его прославленное бесстыдство несколько не похоже на типичный русский эротизм печального образа. Скорее здесь приходит на память простодушная и серьезная откровенность некоторых глав Библии — книги, которую глубоко чувствовал Розанов.

Религия имеет какую-то не вполне понятную для нас связь с жизнью пола. Розанов с особенной ясностью ощущал эту связь. Говорят, он выдумал «религию пола». Неправда. Подобные религии были «выдуманы» или, вернее, пережиты в мистическом опыте за много веков до рождения Розанова. Неисповедимыми путями русский журналист, сотрудник «Нового времени», оказался сопричастником этого опыта. Отсюда его вражда к христианству.

Конечно, всегда, даже в эпоху своего наибольшего увлечения христианской церковностью, он был врагом христианства, врагом хитрым, коварным, непримиримым. Более того: он питал враждебное чувство к самой личности Христа, ненавидел Иисуса Сладчайшего, от которого, по его словам, «прогорк мир». Прочтите его статью о сектантах, которые замуrowались и уморили себя голодом, сочтя всероссийскую перепись знаменем Антихриста<sup>3</sup>. Розанов несколько раз повторяет в примечаниях: «а Смеявшийся над ними говорил»: и за сим следует... цитата из евангелия.

*Смеявшийся* не был для Розанова бестелесным мифом или, напротив, простым смертным, историческим деятелем. Нет, он ясно постигал Его сверхчеловеческую природу. И все-таки отринул Его, не принял в свое сердце. Не знаю, доходил ли кто-либо другой до такого дерзновения. Иван Карамазов доходил. Но ведь то было только в романе.

Подобные вещи даром не проходят. Трещина остается в душе, скрытый изъян, который рано или поздно дает о себе знать. Имелся изъян и у Розанова. Сказать ли? В лице его мы имеем редкий тип мыслителя, равнодушного к истине.

Такова последняя черта, в конечном счете все определяющая и направляющая. Черта, которая все портит. Не будь ее, Розанов, вероятно, стал бы действительно великим писателем. Во всяком случае, не пришлось бы еще и теперь доказывать его литературную значительность.

Прошу понять меня как следует: враждебность к той или иной частной, обособленной истине можно наблюдать очень часто. Она объясняется непониманием, ошибочным суждением. Равнодушие к истине вообще, основанное на душевной и умственной тупости, также представляет собой весьма распространенное явление. Но я говорю о другом: можно знать истину, безошибочно угадывать ее и все-таки не любить. Это своеобразная болезнь духа, извращение основных и органических душевных свойств. Розанов несомненно страдал этой болезнью.

То, что я называю равнодушием Розанова к истине, можно иллюстрировать общеизвестным примером: ролью, которую он играл во время дела Бейлиса.

Нет никакого сомнения, что ни судебские чиновники, которые вели следствие, ни адвокаты, выступавшие гражданскими истцами, ни на йоту не верили, что Бейлис убил Ющинского с ритуальными целями. Они раздували и двигали это дело из чисто политических соображений. Но в толпе их Розанов занимал совсем особое место. Он полагал, что ритуальные убийства действительно существуют в тайниках какой-то мистической еврейской секты. Или, точнее говоря, ему хотелось, чтобы они существовали. Но хотелось не для того, чтобы оправдать угнетение евреев, а потому, что самый факт ритуальных убийств *нравился* ему. Он был убежден, что это хорошо, что, пожалуй, это даже *угодно Богу*. Такова потаенная, скрытая мысль написанной Розановым книги об употреблении евреями христианской крови<sup>4</sup>. Конечно, ни министру Щегловитову, ни адвокату Замысловскому, ни прокурору Вишперу не приходило в голову ничего подобного.

Розанов умер не отверженным еретиком, подобно Толстому, но послушным сыном церкви, почти благолепно и праведно в стенах Троицко-Сергиевой Лавры. Один из ученейших и талантливейших священников русских напутствовал его в последние минуты<sup>5</sup>.

Что это было такое: действительный отказ от всего своего прошлого или один лишний шаг по тому пути житейского оппортунизма, которым так охотно шел Розанов в течение всей своей жизни?

«Я мог бы наполнить багровыми клубами дыма мир... И сгорело бы все. Но не хочу. Пусть моя могилка будет тиха и в сторонке».

Могилка осталась в сторонке. Багровые клубы поднялись над пожаром, зажженным другими руками. Автор «Уединенного» и после смерти одинок. Теперь его книги — только утеха литературных гурманов. Соблазн, в них заключенный, слишком изыскан и тонок, чтобы действовать на толпу.

И на этом все кончилось? Не знаю.

ЗаклЮчу эту статью последними строками стихотворения, которого первые строфы приведены, как эпиграф:

Здесь тайна есть... Мне слышатся призывы  
И скорбный стон с дрожащею мольбой...  
Непримиренное вздыхает сиротливо  
И одинокое тоскует над собой.

